

на все языки. Во французском переводе он сохранил полностью свою захватывающую силу, так же, как и «Деревня» — этот необычайно скорбный роман из крестьянской жизни. Бунин именно таков, каким я его себе представлял: среднего роста, бритый, с резкими чертами лица, он производит впечатление человека скорее замкнутого, чем разговорчивого. Разумеется, он пресытился похвалами «Господину из Сан-Франциско». Он охотнее услышал бы что-нибудь о «Митиной любви», и, по правде сказать, мне не нужно было себя принуждать, чтобы выразить восхищение ее проникновенностью, потому что и в ней сказалась несравненная эпическая традиция и культура его страны...

IV

БУНИН В СПОРЕ С АНДРЕ ЖИДОМ

Предисловие Т. Л. Мотылевой

Публикация А. К. Бабореко*

Письмо Андре Жида к Бунину, как и страницы его дневника, где упоминается Бунин, представляют интерес вовсе не просто как свидетельство уважения знаменитого французского писателя к его русскому сверстнику и собрату. Самое примечательное в этих документах — отголоски литературного спора, носящего принципиальный характер.

«В ходе беседы, — вспоминает А. Жид в письме к Бунину, — мы обнаруживали, что не согласны друг с другом ни в чем, абсолютно ни в чем... Наши литературные вкусы, наши пристрастия, наши суждения расходились во всем — как в том, что мы одобряли, так и в том, что мы осуждали». В дневнике А. Жида от 28 августа 1941 г. о сути этих разногласий говорится более конкретно: «Его преклонение перед Толстым непонятно мне так же, как его пренебрежение к Достоевскому, Щедрину, Сологубу. У нас с ним нет общих святых, общих богов — это ясно». Ни к Щедрину, ни к Сологубу А. Жид, насколько известно, не проявляя особого интереса. Зато перед Достоевским он преклонялся — по-своему с неменьшей искренностью и постоянством, чем Бунин — перед Толстым. Очевидно, что каждый из участников спора воспринимал и истолковывал своего любимого русского классика своеобразно, во многом субъективно, — у А. Жида был «свой» Достоевский, так же как у Бунина был «свой» Толстой.

Бунин горячо любил Толстого — как художника и человека. Социальная проблематика толстовского реализма, его обличительная сила остались в значительной мере недоступной и чуждой Бунину; в разработке народной, крестьянской темы он шел своими, очень отличными от Толстого путями. Но Бунина покорила нравственная высота Толстого как мыслителя и проповедника и вместе с тем — пластичность, изобразительная мощь толстовского искусства. Преемственная связь с Толстым сказалась в ряде произведений Бунина (особенно в «Господине из Сан-Франциско»), что не раз отмечалось исследователями.

К Достоевскому Бунин относился совершенно иначе, — отчужденно, критически (см. настоящ. кн., стр. 272, 274—275, 278).

В статье «На поучение молодых писателям», опубликованной в 1928 г., Бунин энергично взял под защиту реалистические традиции Толстого. Он вступил в полемику с критиком Г. Адамовичем, который упрекал литераторов, старающихся учиться у Толстого, в чрезмерном пристрастии к бытовизму, к «внешней изобразительности». Адамович призывал писателей отойти от воспроизведения «внешнего мира», повернуться к «миру внутреннему» в его движении и изменчивости. Возражая ему, Бунин саркастически спрашивал:

«Это очень приятно слышать, но кто же это когда отрицал? А потом — что же делать и с этим внутренним миром, без изобразительности, если хочешь его как-то показать, рассказать? Как его описать без описательства? Одними восклицаниями? Нецеленарзательными звуками?»

* Перевод публикуемых ниже текстов из дневника Андре Жида и его письма Бунину выполнен редакцией «Литературного наследства».

Пора бросить идти по следам Толстого? А по чьим же следам надо идти? Например, Достоевского? Но ведь тоже немало шли и идут. Кроме того: неужто уж так беден Толстой и насчет этого самого мира внутреннего?» (9, 451).

Есть основание предположить, что к подобной же аргументации прибегал Бунин и в беседе с Андре Жидом: в своих оценках Толстого и его литературных последователей А. Жид был близок к той точке зрения, которая столь раздражила Бунина в статье Адамовича.

Наследие Толстого и Достоевского, вопрос о значении их традиций для современной литературы — все это было постоянным предметом разногласий между А. Жидом и одним из его ближайших французских друзей, Роже Мартен дю Гаром¹. Имена обоих русских классиков то и дело встают в переписке А. Жида и Р. Мартен дю Гар, недавно опубликованной во Франции.

А. Жид неоднократно критиковал автора «Семьи Тибо» за его пристрастие к Толстому. Он писал, например, 22 сентября 1928 г.: «То, в чем вы, кажется, готовы сегодня упрекнуть себя, — это и есть, как вы знаете, то, в чем я упрекаю Толстого... Ваши персонажи не доставляют вам никаких неожиданностей; в них нет ничего, что бы вы сами в них не вложили и не обозрели со всех сторон. Вас за это и будут хвалить: такова уж манера вашей живописи, и в ней вы достигли мастерства. Энгру не надо сожалеть, что у него нет качеств Рембрандта ...»². Эстетическая позиция Жида выражена с еще большей определенностью в письме к Роже Мартен дю Гару 2 апреля 1930 г.: «Любопытно, что я все время чувствую нарочитость у Толстого; я никогда ее не чувствую или по крайней мере никогда от нее не страдаю у Достоевского. Дело в том, что у него всегда есть что сказать, — нечто новое и важное; по крайней мере для меня у него важна не живопись сама по себе и не внешние действия персонажей — а некая таинственная тревога, которою он наделяет каждого из них и которою он хочет заразить и читателя... Мне нравится в нем именно то, что он не идет на поводу у своих повествовательных приемов и что любой его прием глубоко мотивируется и порождается тем внутренним демоном, который сидит в нем. Именно этого я не нахожу в Толстом; потому он мне и кажется скучным»³.

Роже Мартен дю Гар был непоколебимо убежден, что Толстой, как никто другой, может научить писателей «смотреть вглубь»⁴. В противовес этому Андре Жид отказывал Толстому в психологической глубине, осуждал его за присущую ему ясность, пластичность картины мира. Толстовскую художественную манеру он неуважительно приравнивал к живописи Энгра, дающей упрощенные и приглаженные образы бытия, в то время как в Достоевском видел нечто родственное Рембрандту. Подобные противопоставления можно найти и в книге А. Жида о Достоевском, вышедшей в 1923 г. Роман Достоевского, утверждал Жид, предельно далек от традиционной формулы, пущенной в оборот Стендалем — «зеркало, проносимое по большой дороге». «В романе Стендаля или Толстого господствует постоянный, ровный, рассеянный свет; все предметы освещены одинаково и видны со всех сторон; они вовсе лишены тени. А в книге Достоевского, как на картине Рембрандта, самое важное — это тень»⁵. Жид крайне произвольно интерпретировал и Достоевского, и Рембрандта, рассматривая и у того и у другого «тень» — налет таинственности, загадочности — как своего рода художественную самоцель. В книге Жида есть частные наблюдения над мастерством Достоевского, не лишённые проникательности; но в целом она дает во многом искаженный портрет великого русского писателя. Острога социальной критики, защита униженных и оскорбленных — все это начисто игнорируется и сбрасывается со счета, герои Достоевского предстают в аспекте абстрактно-вневременном. Сам Достоевский трактуется в одно и то же время и как певец ставрогинского аморализма, и как проповедник абсолютного смирения, враждебного интеллекту. В финале книги формулируется главный эстетический вывод автора: «Я хотел бы объяснить вам, что при помощи добрых чувств создается плохая литература и что нет подлинного произведения искусства без соучастия демона»⁶.

Все сказанное помогает нам представить себе, с каких позиций Андре Жид мог восхвалять Достоевского и «ниспровергать» Толстого в разговоре с Буниным. Можно понять, что оба собеседника, при всем уважении друг к другу, так и не нашли общего

языка — ни в оценке обоих великих русских писателей, ни в подходе к конкретным задачам литературного мастерства.

Книга Бунина «Освобождение Толстого», прочитанная А. Жидом в сентябре 1941 г., дала ему новый повод задуматься над личностью и судьбой нелюбимого им русского классика. В дневниковой записи, посвященной этой книге, А. Жид снова «исспровергает» Толстого — на этот раз в плане этическом.

Как известно, книга Бунина не дает, да и не претендует на то, чтобы дать целостный образ Толстого как человека и художника. Самое интересное в ней — живые записи по памяти, свидетельства очевидцев, тонко подмеченные штрихи личности Толстого.

Бунин не сумел и не пытался разобраться в противоречиях мировоззрения Толстого, не сумел и не пытался увидеть связь толстовского гения с движением русских крестьянских масс. Но он на свой лад запечатлел обаяние и силу титанической личности писателя. И нет оснований удивляться, что даже Андре Жид, так не любивший Толстого, прочитал эту книгу с «большим интересом».

Сквозь всю неполноту и неизбежный субъективизм бунинских записей А. Жид почувствовал в Толстом бушевание гордого ума, страстное неприятие господствующих устоев жизни. Даже уход его из Ясной Поляны Жид оценил — не без оснований — как бунт Титана против бога, против судьбы. И это еще укрепило его в давней неприязни к Толстому...

Современный советский читатель может найти немало устаревшего и ошибочного в бунинской интерпретации Толстого. Но в главном и решающем Бунин-художник был и остался близок к традициям толстовского реализма и — шире — к большим реалистическим традициям русской классической литературы. И в этом смысле разногласия между ним и Андре Жидом (который, при всем обилии написанных им правдивых и сильных страниц, был, по основной своей сути, художником модернистского склада) далеко выходят за пределы личных литературных вкусов и пристрастий.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Краткая характеристика этих разногласий дана в книгах: Ф. Н а р к и р ь е р. Роже Мартен дю Гар. Критико-биографический очерк. М., 1963, стр. 222—223; Б. Б у р с о в. Национальное своеобразие русской литературы. Л., 1967, стр. 390—391.

² André Gide, Roger Martin du Gard. Correspondance. Paris, 1968, p. 352.

³ Там же, стр. 400.

⁴ Роже Мартен дю Гар. «Воспоминания». — «Иностранная литература», 1956, № 12.

⁵ André Gide. Dostoïevski. Paris, 1964, p. 142.

⁶ Там же, стр. 207 (курсив А. Жиды).

1

ИЗ ДНЕВНИКА АНДРЕ ЖИДА

28 août (1941)

A Grasse depuis hier. Vers le soir de mon arrivée, été voir Bounine. Visite assez décevante, car, malgré de cordiaux efforts de part et d'autre, le vrai contact ne s'est pas établi. L'un fait trop peu de cas de ce que l'autre admire. Son culte pour Tolstoï me gêne autant que son mépris pour Dostoïevski, pour Chchédrine, pour Sologoub. Décidément, nous n'avons pas les mêmes saints, les mêmes dieux. Mais durant toute la conversation il s'est montré charmant. Son beau visage, bien que très plissé, reste noble et son regard est plein de flamme. Il était en pyjama caroubier, largement ouvert sur le devant et laissant entrevoir une mince chaînette d'or qui devait, j'ai supposé, retenir une médaille sainte. Il vient, m'a-t-il dit, d'achever un nouveau livre, mais ne sait où ni comment le faire éditer. J'étais un peu confus de ne connaître de lui que «Le Monsieur de San-Francisco» et que «Le



ГРАСС. ВИД НА ОКРАИНУ ГОРОДА И ВИЛЛУ «ЖАННЕТ»

Фотография.

Звездочкой отмечено место, где находилась вилла «Жаннет»

Собрание Т. Д. Муравьевой-Логиновой, Франция

Village», oeuvre de jeunesse qui, m'a-t-il dit, le représente fort peu, fort mal, et que j'avais grand tort d'aimer beaucoup. Peu s'en faut qu'il ne la renie. Je ne sais ce qu'il connaît de moi, ni n'ai pu discerner sur quoi se base la sympathie qu'il me témoigne.

10 septembre <1941>

Je lis avec un vif intérêt le livre de Bounine sur Tolstoï. Il l'explique à merveille et m'explique du même coup pourquoi je me sens, devant Tolstoï, si mal à mon aise. Quel monstre! Sans cesse cabré, en révolte contre son naturel, forçant de douter sans cesse de sa sincérité, étant tour à tour tout et tous et jamais plus personnel que lorsqu'il cesse d'être lui-même; orgueilleux dans le renoncement, orgueilleux sans cesse, jusqu'à ne prendre point son parti de mourir simplement comme tout le monde. Mais quelle angoisse dans cette lutte dernière; c'est celle d'un Titan contre Dieu, contre le sort. Je l'admire peut-être; je ne puis sympathiser et me sentir d'accord qu'avec les humbles, les modestes. Tolstoï reste, pour moi, une *impossibilité*. Cinelli le compare à saint François, quelle absurdité! Tolstoï s'oppose à saint François

de tout son être et par toute sa complexité, son faste, et même son effort vers un dénuement spectaculaire; sans cesse en représentation devant lui-même, et pour qui la simplicité n'est qu'une complication de plus. Protéiforme, ses «créations» les plus compliquées ne sont jamais qu'une simplification de lui-même, et celui capable de devenir tant d'êtres, devient à jamais incapable d'une réelle sincérité.

Перевод:

28 августа <1941 г.>

Со вчерашнего дня в Грассе. Вечером, по приезде, навестил Бунина. Встреча не сколько разочаровала меня, ибо, несмотря на искренние усилия обеих сторон, подлинного контакта не получилось. Один равнодушен к тому, что восхищает другого. Его преклонение перед Толстым коробит меня так же, как и его пренебрежение к Достоевскому, Щедрину, Сологубу. У нас с ним нет общих святых, общих богов — это ясно. Но в течение всей беседы он был очарователен. Его красивое, хотя и очень морщинистое, лицо сохраняет благородство, а взгляд полон огня. На нем была коричневая, расстегнутая на груди пижама, из-под которой виднелась тонкая золотая цепочка, — думаю, что с образком. Он сказал, что закончил новую книгу, но не знает, где и как ее издать. Я был немного сконфужен тем, что знал только его «Господина из Сан-Франциско», и еще «Деревню» — юношеское произведение, которое, по его словам, дает очень слабое и очень неверное о нем представление и которое я напрасно так высоко ценю¹. Он почти готов от него отказаться. Не знаю, что он читал из моих произведений, и не смог разобрать, на чем основана симпатия, которую он ко мне проявляет.

10 сентября <1941 г.>

С большим интересом читаю книгу Бунина о Толстом. Он его прекрасно объясняет и одновременно объясняет мне, почему с Толстым мне так не по себе. Какое чудище! Постоянно бунтующий, восстающий против собственной природы, постоянно вызывающий сомнение в своей искренности, попеременно воплощающийся во всё и вся, — он никогда не бывает более индивидуален, чем тогда, когда перестает быть самим собой, преисполненный гордыни в самоотречении, гордыни во всем, вплоть до несогласия умереть просто, как все люди. Но какая жуть в этой последней борьбе: это борьба Титана против Бога, против судьбы. Я восхищаюсь им пожалуй; но чувствовать симпатию душевную и близость могу только к людям скромным, смиренным. Толстой остается для меня какой-то *невозможностью*. Чинелли сравнивает его со св. Франциском, — какая нелепость! Толстой противоположен св. Франциску всем своим существом, всей своей сложностью, своим величием, даже своим стремлением к показному опрощению; он все время рисуется перед самим собой, и простота для него — только еще одна сложность. Он многолик, и самые сложные его «создания» — это всегда лишь он сам в упрощенном виде, а тот кто способен к столь бесконечным перевоплощениям, останется навсегда неспособным к подлинной искренности.

André Gide. Journal 1939—1942. Paris, 1946, p. 152—153, 155.

¹ 27 июля 1922 г. А. Жид, упоминая о Буине в своем дневнике, записал: «Son „Village“ est admirable» («Его „Деревня“ удивительна» — André Gide. Journal 1889—1939. Paris, 1948, p. 738; сообщено Т. Г. Динесман).

2

ПИСЬМО АНДРЕ ЖИДА К БУНИНУ

<Париж, 23 октября 1950 г.>

Cher Ivan Bounine,

Je ne vous ai précédé que d'un an dans la vie; c'est dire que nous sommes à bien peu près du même âge — vous m'avez précédé de quinze ans dans les

honneurs: c'est en 1933, si je ne fais erreur, que la Suède vous accorda le prix Nobel. Cette même faveur insigne fut accordée, en France, à Roger Martin du Gard, puis, longtemps ensuite, à moi-même. Est-ce un titre suffisant pour m'adresser à vous aujourd'hui, au nom de la France, et vous donner, au seuil de votre quatre-vingt-unième année, une accolade confraternelle? Non: il y faut encore que vous ayez choisi la France pour abriter votre long exil, citoyen russe réfugié parmi nous depuis la révolution qui vous a mis en opposition, parmi les vôtres, contre ce qui vous paraissait intolérable. Il y faut surtout les liens d'une sympathie profonde, pour votre oeuvre d'abord, que j'admiraïs déjà longtemps avant d'avoir pu vous rencontrer; pour vous-même enfin lorsque nos routes se sont croisées.

Vous habitiez Grasse et je n'eus pas grand détour à faire pour aller vous saluer dans cette hospitalière villa où quelques-uns de vos compatriotes gravitaient autour de vous. Je n'ai certes pas oublié la bonne grâce de votre accueil; vous fîtes tant, et Madame Bounine, et quelques autres, pour que je me sentisse à peine dépaycé dans cette atmosphère, un peu bohème, un peu surchauffée, mais profondément humaine, qui vous enveloppait. Si je m'y sentis aussitôt presque parfaitement à mon aise, c'est que cette atmosphère était celle même qu'évoquaient la plupart des oeuvres de la littérature russe avec laquelle j'étais depuis longtemps familiarisé. Affaire d'une sorte de rayonnement: des fenêtres de votre villa de Grasse j'étais presque étonné de voir un paysage du Midi de la France et non pas la steppe russe, le brouillard et la neige, et les bosquets de bouleaux blancs. Votre monde intérieur s'imposait et triomphait des apparences; c'était là la réalité. Et je retrouvais autour de vous cette extraordinaire force de sympathie qui laisse fraterniser l'homme avec l'homme, en dépit des frontières, des différences sociales et des conventions. En dépit même des divergences intellectuelles. Comme je m'entendais bien avec vous! Au cours de la conversation, nous découvrions que nous n'étions d'accord sur rien, absolument sur rien: c'était charmant. Nos goûts littéraires, nos admirations, nos jugements différaient du tout au tout, aussi bien pour approuver que pour honnir. Mais ce qui m'importait, c'est que je n'entendais dans vos propos rien que d'authentique et de convaincu, rien d'obtenu par contrainte ou par imitation, de contrefait. Et sans doute était-il impossible d'imaginer une éthique et une esthétique, un ciel et un enfer littéraires, plus profondément et foncièrement distants des miens que les vôtres. Mais vous aviez su vous affermir et vous affirmer sur vos positions d'une manière magistrale. Et c'est cela seul qui importe; car, en art, il n'est pas une seule façon d'être grand. Lorsque j'écoute un récit de vous, j'oublie tout le reste: ça y est. Je ne connais pas d'oeuvres où le monde extérieur soit en contact plus étroit avec l'autre, le monde intime; où la sensation soit plus exacte et irremplaçable, les propos plus naturels à la fois et plus inattendus. Vous évoluez aussi aisément dans les milieux les plus misérables et sordides que dans les milieux fortunés, avec pourtant une sorte de prédilection pour ce qu'il y a de plus déshérité sur la terre. Et quels raccourcis soudains où il semble que la toile du tableau se déchire pour laisser entrevoir une sorte de désespoir sans recours. Oh! Je crois bien que c'est par là que nous différons le plus. Mais il ne s'agit pas ici d'approuver.

Dans un de vos récits les plus saisissants («La Brume»²), vous racontez l'effroyable mort d'un pauvre être, que son père, à moitié mort de froid lui-même, porte péniblement sur son dos, perdu dans le broillard, à travers l'impitoyable nuit. C'est le père qui fait ce récit à une servante. «Quelle chose extraordinaire», dit celle-ci lorsqu'il eut terminé. «Je ne comprends vraiment pas comment tu as pu ne pas mourir, toi aussi, cette nuit-là». Et l'autre répond distraitemment: «J'avais bien autre chose à faire».

Cher Ivan Bounine, la France peut être fière d'avoir recueilli votre exil. Puisse celui-ci, dans la brume qui nous enveloppe de toutes parts, ne pas

avoir été sans quelques lueurs; puisse-t-il vous avoir apporté, vous apporter encore, quelques raisons de sourire parfois à la vie et de ne pas désespérer de tout: vous avez bien autre chose à faire.

André G i d e.

Перевод:

⟨Париж, 23 октября 1950 г.⟩

Дорогой Иван Бунин,

Вступлением в жизнь я опередил вас на один год; другими словами, мы с вами почти ровесники, — в славе же вы опередили меня на целых пятнадцать лет: в 1933 году, если не ошибаюсь, Швеция присудила вам Нобелевскую премию. Та же высокая награда была присуждена, во Франции, Роже Мартен дю Гару, а потом, много времени спустя, и мне. Дает ли мне звание лауреата право обратиться к вам сегодня от имени Франции и, на пороге вашего восьмидесяти первого года, по-братски обнять вас? Нет, нужно было еще, чтобы для долголетнего своего изгнания вы избрали своим убежищем Францию, — вы, русский гражданин, нашедший среди нас пристанище после революции, вследствие которой среди своих вы оказались в оппозиции к тому, что представлялось вам неприемлемым. А главное, нужны были еще узы глубокой симпатии прежде всего к вашему творчеству, которым я восхищался задолго до того, как смог с вами встретиться, и, наконец, — к вам лично, когда пути наши скрестились.

Вы жили в Грассе, и мне не понадобилось делать большой крик для того, чтобы приветствовать вас на гостеприимной вилле, где вокруг вас собралось несколько ваших соотечественников. Я, конечно, не забыл оказанного мне любезного приема; вы, г-жа Бунина и некоторые другие столько сделали для того, чтобы я не чувствовал себя чужим в несколько богомной, несколько накаленной, но глубоко человеческой атмосфере царившей вокруг вас. И если я тотчас почувствовал себя почти непринужденно, то потому, что это была та самая атмосфера, которой проникнуто большинство произведений русской литературы, близкой мне с давних пор. И вот какова сила воздействия: мне казалось почти невероятным видеть из окон вашей виллы в Грассе пейзаж французского юга, а не русскую степь, туман, снег и белые березовые рощи. Ваш внутренний мир брал верх и торжествовал над миром внешним: он-то и становится подлинной реальностью. Вокруг вас я ощущал ту необычайно притягательную силу, которая позволяет братски сближаться человеку с человеком, вопреки границам, общественным различиям и условностям. Даже вопреки расхождениям в области идей. Как прекрасно мы понимали друг друга! В ходе беседы мы обнаруживали, что не согласны друг с другом ни в чем, абсолютно ни в чем, — и это было чудесно. Наши литературные вкусы, наши пристрастия, наши суждения расходились во всем, — как в том, что мы одобряли, так и в том, что мы осуждали. Но что для меня было важно, — это то, что в ваших словах я ощущал только искренность и убежденность, в них не было ни тени насилия над собой, ни приспособленчества, ни подделки. Невозможно, конечно, представить себе понятия об этике и эстетике, о вершинах литературы и ее безднах, которые были бы так глубоко, так в корне отличны от моих, как ваши. Однако вы сумели великолепно стать на свои позиции и великолепно их отстаивать. А только это и важно; ибо в искусстве нет единого пути к великому. Когда я слушаю ваш рассказ, то забываю обо всем: я покорён. Я не знаю произведений, где внешний мир так тесно сливался бы с миром иным, миром внутренним, где ощущения были бы выбраны так точно, что их невозможно заменить другими, а слова были бы так естественны и вместе с тем неожиданны. Вам так же доступен мир богатых и отверженных, как и мир благоденствующих, но сочувствие ваше все же скорее на стороне самых обездоленных мира сего. А какие неожиданные ракурсы, когда кажется, что полотно картины разрывается, чтобы приоткрыть всю безнадежность отчаяния. О, я убежден, что именно в этом мы больше всего отличаемся друг от друга! Но речь здесь не о том, чтобы соглашаться.

В одном из самых захватывающих ваших рассказов («Туман»²) вы описываете страшную смерть несчастного существа, которого отец, сам полузамерзший, заблудившийся в тумане, несет на себе, выбиваясь из сил, сквозь беспощадную ночь. Всю эту историю отец рассказывает кухарке. «Дивное дело, — сказала та, когда он кончил, — не пойму я того, как сам-то ты в такую страсть не замерз?» А рассказчик рассеянно отвечает: «У меня другое дело было»³.

Дорогой Иван Бунин, Франция может гордиться тем, что стала вашим убежищем в изгнании. Надеюсь, что это изгнание в обволакивающем нас густом тумане не было лишено просветов; надеюсь, что оно давало и еще будет давать вам повод порой улыбнуться жизни и не отчаиваться — у вас есть другое дело.

Андре Жид

«Figaro», 1950, № 1904, 24 октября.

¹ Французские писатели составили Комитет по празднованию восьмидесятилетнего юбилея Бунина (Comité pour célébrer le quatrevingtième anniversaire de l'écrivain Ivan Bouinine). Председателем Комитета был Андре Жид, в состав его входили Роже Мартен дю Гар, Франсуа Мориак, Андре Моруа (см. настоящ. кн., стр. 347).

² Речь идет о рассказе «Сверчок».

³ У Бунина: «Не до того было».